

18+

ЭММА ГОЛЬДМАН

# МОЁ РАЗОЧАРОВАНИЕ В БОЛЬШЕВИСТСКОЙ РОССИИ



Эмма Гольдман

**Моё разочарование  
в большевистской России**

«Издательские решения»

**Гольдман Э.**

Моё разочарование в большевистской России / Э. Гольдман —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-698481-3

Эмма Голдман, легендарная анархистка, более тридцати лет боровшаяся за свободу в Америке, в 1920 году едет в Советскую Россию. Вместо освобождённого народа и торжества равенства она находит голод, террор, тотальную слежку, показную роскошь для партийной элиты и нищету рабочих. Большевики, по её словам, узурпировали власть и уничтожили саму суть Революции — свободное творчество масс, солидарность, прямую демократию.

ISBN 978-5-00-698481-3

© Гольдман Э.  
© Издательские решения

## Содержание

Предисловие	6
ГЛАВА I. Депортация в Россию	12
ГЛАВА II. Петроград	16
ГЛАВА III. Тревожные мысли	20
ГЛАВА IV. Москва: первые впечатления	24
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Моё разочарование в большевистской России

**Эмма Гольдман**

*Редактор* Владислав Олегович Горнак

*Переводчик* Владислав Олегович Горнак

*Дизайнер обложки* Алина Сергеевна Горнак

© Эмма Гольдман, 2026

© Владислав Олегович Горнак, перевод, 2026

© Алина Сергеевна Горнак, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0069-8481-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Предисловие

Я приняла решение записать свои переживания, наблюдения и впечатления, полученные во время пребывания в России, задолго до того, как задумалась о том, чтобы покинуть эту страну.. По сути, именно это и стало главной причиной моего отъезда из этой трагически героической земли.

Сильнейшие из нас неохотно расстаются с давней заветной мечтой. Я приехала в Россию, исполненная надежды, что найду здесь новорождённую страну, народ которой всецело посвятил себя великой, пусть и очень трудной, задаче революционного переустройства. И я горячо надеялась, что смогу стать деятельным участником этой вдохновляющей работы.

Реальность в России оказалась гротескной, совершенно не похожей на тот великий идеал, который на гребне высокой надежды привёл меня в землю обетованную. Мне потребовалось целых пятнадцать месяцев, чтобы освоиться. Каждый день, каждая неделя, каждый месяц добавляли новые звенья в роковую цепь, тянувшую вниз моё выстраданное творение. Я отчаянно боролась с разочарованием. Долгое время я противилась тихому голосу внутри, который призывал меня взглянуть в лицо неопровержимым фактам. Я не хотела и не могла сдаться.

Затем наступил Кронштадт. Это стал последний переломный момент. Он завершил ужасное осознание того, что Русской революции больше нет.

Передо мной предстало Большевистское государство — грозное, сокрушающее любые конструктивные революционные усилия, подавляющее, унижающее и разлагающее всё вокруг. Не имея возможности и не желая становиться винтиком этой зловещей машины и осознавая, что не могу принести практической пользы России и её народу, я решила покинуть страну. Оказавшись за её пределами, я расскажу честно, откровенно и настолько объективно, насколько это вообще возможно для меня, историю своего двухлетнего пребывания в России.

Я уехала в декабре 1921 года. Я могла бы написать тогда же, ещё под свежим впечатлением от этого чудовищного опыта. Но прошло четыре месяца, прежде чем я смогла заставить себя написать серию статей. И я откладывала ещё четыре месяца, прежде чем приступить к этой книге.

Я не претендую на то, чтобы писать историю. Историк, отделённый пятьюдесятью или сотней лет от описываемых событий, может казаться объективным. Но настоящая история — это не просто компиляция голых данных. Она ничего не стоит без человеческого элемента, который историк по необходимости черпает из записей современников тех событий. Именно личные реакции участников и наблюдателей придают истории жизненную силу, делают её яркой и живой.

Так, о Французской революции написано множество трудов, но лишь немногие из них выделяются правдивостью и убедительностью — причём освещают они предмет ровно настолько, насколько историк прочувствовал свою тему через документы, оставленные современниками той эпохи.

Я сама — и, полагаю, большинство изучающих историю — гораздо живее ощутила и представила Великую Французскую революцию по письмам и дневникам современников, таких как мадам Ролан, Мирабо и других очевидцев, чем по трудам так называемых объективных историков.

По странному совпадению том писем, написанных во время Французской революции и составленный талантливым немецким анархистским публицистом Густавом Ландауэром, попал в мои руки в самый критический период моего пребывания в России. Я буквально читала их в тот момент, когда слышала, как большевистская артиллерия начинает обстрел кронштадтских повстанцев. Эти письма дали мне наиболее яркое понимание событий Французской революции. Как никогда прежде они донесли до меня осознание того, что большевистский режим

в России в целом был значительным повторением того, что произошло во Франции более века назад.

Великие истолкователи Французской революции, такие как Томас Карлейль и Пётр Кропоткин, черпали своё понимание и вдохновение из свидетельств той эпохи. Точно так же и будущие историки Великой Русской революции — если они хотят писать настоящую историю, а не просто свод фактов — будут опираться на впечатления и реакции тех, кто пережил Русскую революцию, разделил страдания и муки народа и кто действительно участвовал в разворачивавшейся трагедии или наблюдал за её ежедневным развитием.

Находясь в России, я не имела чёткого представления о том, сколько уже было написано на тему Русской революции. Но те немногие книги, которые до меня доходили, производили на меня крайне неудовлетворительное впечатление. Они были написаны людьми, не имевшими непосредственного представления о ситуации, и отличались прискорбной поверхностностью.

Некоторые из авторов провели в России от двух недель до двух месяцев, не знали языка страны и в большинстве случаев находились под присмотром официальных гидов и переводчиков.

Я не имею здесь в виду тех писателей, которые — в России и за её пределами — играют роль большевистских придворных функционеров. Они — особая категория. О них я говорю в главе «Разъездные торговцы революцией». Здесь же речь идёт об искренних друзьях Русской революции. Работа большинства из них привела к неисчислимой путанице и пагубным последствиям. Они помогли увековечить миф о том, что большевики и Революция — синонимы. Между тем ничто не может быть дальше от истины.

Собственно, Русская революция произошла в летние месяцы 1917 года. В тот период крестьяне завладели землёй, рабочие — фабриками, доказав тем самым, что хорошо понимают смысл социальной революции. Октябрьская перемена стала завершающим штрихом в работе, начатой шестью месяцами ранее.

В ходе великого восстания большевики присвоили себе право говорить от имени народа. Они заимствовали аграрную программу эсеров и индустриальную тактику анархистов. Но после того как высокая волна революционного энтузиазма вынесла их к власти, большевики сбросили маски. Именно тогда начался духовный разрыв между большевиками и Русской революцией. С каждым днём пропасть между ними становилась всё шире, а их интересы — всё более противоречивыми. Сегодня не будет преувеличением заявить, что большевики стали заклятыми врагами Русской революции.

Предрассудки умирают с трудом. В случае с этим современным предрассудком процесс вдвойне затруднён, поскольку различные факторы объединились, чтобы искусственно поддерживать его жизнь. Международная интервенция, блокада и весьма эффективная мировая пропаганда Коммунистической партии поддерживают большевистский миф. Даже ужасный голод используется с этой целью.

Насколько сильна власть этого предрассудка, я осознаю на собственном опыте. Я всегда знала, что большевики — марксисты. Тридцать лет я боролась с марксистской теорией как с холодной, механистической, поработщающей формулой. В брошюрах, лекциях и дебатах я выступала против неё. Поэтому я прекрасно понимала, чего можно ожидать от большевиков. Но нападение союзников на них сделало их символом Русской революции и побудило меня встать на их защиту.

С ноября 1917-го по февраль 1918 года, находясь на свободе под залог из-за своей позиции против войны, я объездила Америку, выступая в защиту большевиков. Я опубликовала брошюру, в которой разъясняла суть Русской революции и оправдывала действия большевиков. Я защищала их как носителей духа революции на практике, несмотря на их теоретиче-

ский марксизм. Моё отношение к ним в то время отражено в следующих отрывках из моей брошюры «Правда о большевиках»:<sup>1</sup>

Русская революция — чудо во многих отношениях. Среди прочих поразительных парадоксов она демонстрирует феномен: марксистские социал-демократы Ленин и Троцкий перенимают анархистскую революционную тактику, в то время как анархисты — Кропоткин, Черкесов, Чайковский — отрицают эту тактику и склоняются к марксистским рассуждениям, которые всю жизнь отвергали как «немецкую метафизику».

Большевики 1903 года, хотя и были революционерами, придерживались марксистской доктрины об индустриализации России и исторической миссии буржуазии как необходимом эволюционном процессе — до того, как русские массы смогут обрести свои права. Большевики 1917 года уже не верят в predetermined роль буржуазии. Они были подхвачены волнами Революции и пришли к точке зрения, которую анархисты отстаивали со времён Бакунина: а именно, что, как только массы осознают свою экономическую силу, они сами творят историю и не обязаны подчиняться традициям и процессам мёртвого прошлого — тем, что, подобно тайным договорам, составляют за круглым столом и не диктуются самой жизнью.

В 1918 году мадам Брешковская посетила Соединённые Штаты и начала кампанию против большевиков. В то время я находилась в Миссурийской тюрьме. Опечаленная и потрясённая деятельностью «маленькой бабушки Русской революции», я написала ей, умоляя одуматься и не предавать дело, которому она посвятила жизнь. Тогда я подчёркивала: хотя ни одна из нас не разделяла теоретических взглядов большевиков, мы всё же должны быть едины в защите Революции.

Когда суды штата Нью-Йорк подтвердили законность мошеннических методов, с помощью которых меня лишили избирательных прав и отказали в американском гражданстве (которым я обладала 32 года), я отказалась от права на апелляцию — чтобы иметь возможность вернуться в Россию и помочь в великом деле. Я горячо верила, что большевики продвигают Революцию и действуют на благо народа. Я цеплялась за эту веру больше года после приезда в Россию.

Наблюдения и исследования, длительные поездки по разным регионам страны, встречи с представителями самых разных политических взглядов, а также с друзьями и врагами большевиков — всё это убедило меня в том, что мир оказался во власти чудовищного заблуждения.

Я упоминаю эти обстоятельства, чтобы показать: перемена моих взглядов и убеждений была болезненным и трудным процессом. Моё окончательное решение высказаться продиктовано единственной целью — чтобы люди повсюду научились отличать большевиков от Русской революции.

Обыденное представление о благодарности сводится к тому, что нельзя критиковать тех, кто проявил к тебе доброту. Благодаря этому убеждению родители поработают своих детей даже эффективнее, чем при помощи жестокого обращения, а друзья тиранят друг друга. По сути, все человеческие отношения сегодня отравлены этой пагубной идеей.

Некоторые люди упрекали меня за критическое отношение к большевикам. «Как неблагодарно нападать на коммунистическое правительство после того гостеприимства и доброты, которыми я пользовалась в России!» — негодуяще восклицают они.

Я не собираюсь отрицать, что получала определённые преимущества во время пребывания в России. Я могла бы получить гораздо больше, если бы была готова служить власть иму-

---

<sup>1</sup> Издательство Mother Earth Publishing Association, Нью-Йорк, февраль 1917 года.

щим. Именно это обстоятельство сделало для меня невероятно трудным высказываться против тех злоупотреблений и зла, которые я видела день за днём. Но в конце концов я осознала, что молчание — действительно знак согласия. Не выступить против предательства Русской революции означало бы стать соучастницей этого предательства.

Революция и благосостояние масс — в России и за её пределами — слишком важны для меня, чтобы позволить каким-либо личным соображениям относительно коммунистов, которых я встретила и научилась уважать, затуманить моё чувство справедливости и помешать мне поделиться с миром своим двухлетним опытом пребывания в России.

В некоторых кругах, без сомнения, будут возражать против того, что я не называю имён людей, которых цитирую. Некоторые даже могут использовать этот факт, чтобы поставить под сомнение мою правдивость. Но я предпочитаю столкнуться с этим, нежели передать кого-либо в цепкие лапы ЧК — что неизбежно произошло бы, если бы я разгласила имена коммунистов или не-коммунистов, которые чувствовали себя свободно, разговаривая со мной.

Те, кто знаком с реальным положением дел в России и кто не находится под гипнотическим влиянием большевистского мифа и не состоит на службе у коммунистов, подтвердят, что я дала правдивую картину. Остальной мир узнает об этом со временем.

Друзья, чьё мнение я ценю, любезно предположили, что моя конфронтация с большевиками проистекает скорее из моей социальной философии, нежели из провала большевистского режима. Как анархистка, утверждают они, я естественным образом настаиваю на важности личности и личной свободы. Однако в революционный период и то, и другое должно быть подчинено благу целого.

Другие друзья указывают, что разрушение, насилие и террор — неизбежные спутники революции. Как революционерка, говорят они, я не могу последовательно возражать против насилия, практикуемого большевиками.

Оба эти возражения были бы оправданы, если бы я приехала в Россию в ожидании увидеть осуществлённый анархизм или если бы утверждала, что революции могут совершаться мирно.

Анархизм для меня никогда не был механистическим устройством общественных отношений, которое можно навязать человеку посредством политической смены декораций или передачи власти от одного социального класса к другому. Для меня анархизм был и остаётся не дитятей разрушения, а дитятей созидания — результатом роста и развития сознательных творческих социальных усилий обновлённого народа. Поэтому я не ожидала, что анархизм последует непосредственно по пятам за веками деспотизма и покорности. И уж конечно, я не рассчитывала увидеть, что его будут внедрять через призму марксистской теории.

Однако я действительно надеялась найти в России хотя бы зачатки тех социальных перемен, ради которых велась Революция. Судьба отдельной личности не была моей главной заботой как революционерки. Я была бы удовлетворена, если бы русские рабочие и крестьяне в целом обрели существенные социальные улучшения в результате большевистского режима.

Два года серьёзного изучения, исследований и изысканий убедили меня: великие блага, якобы принесённые русскому народу большевизмом, существуют лишь на бумаге — их яркими красками расписывают для масс Европы и Америки посредством эффективной большевистской пропаганды. В искусстве пропаганды большевики превзошли всё, что мир знал до них. Но в реальности русский народ ничего не получил от большевистского эксперимента.

Конечно, у крестьян есть земля — но не по милости большевиков, а благодаря собственным прямым усилиям, предпринятым задолго до октябрьских событий. То, что крестьяне смогли удержать землю, объясняется главным образом присущей славянам упорностью: поскольку они составляют подавляющую часть населения и глубоко укоренены в земле, их нельзя было так легко оторвать от неё, как рабочих — от средств производства.

Русские рабочие, как и крестьяне, также прибегли к прямому действию. Они завладели фабриками, организовали собственные фабрично-заводские комитеты и фактически контролировали экономическую жизнь России. Но вскоре их лишили власти и поставили под промышленное ярмо большевистского государства. Рабское положение стало уделом русского пролетариата. Его подавляли и эксплуатировали во имя чего-то, что в будущем должно было принести ему комфорт, свет и тепло. Как я ни старалась, я не смогла найти никаких доказательств того, что рабочие или крестьяне получили какие-либо блага от большевистского режима.

С другой стороны, я обнаружила, что революционная вера народа сломлена, дух солидарности раздавлен, смысл товарищества и взаимопомощи извращён. Нужно было жить в России, быть рядом с народом и вникать в его повседневные заботы; нужно было увидеть и прочувствовать его полное разочарование и отчаяние, чтобы в полной мере оценить разрушительное воздействие большевистских принципов и методов — то, что уничтожило всё, что когда-то составляло гордость и славу революционной России.

С доводом о том, что разрушение и террор — часть революции, я не спорю. Я знаю, что в прошлом каждое великое политическое и социальное изменение требовало применения насилия. Америка, возможно, до сих пор была бы под британским игмом, если бы не героические колонисты, осмелившиеся противостоять британской тирании силой оружия. Чёрное рабство, возможно, до сих пор оставалось бы узаконенным институтом в Соединённых Штатах, если бы не воинственный дух таких людей, как Джон Браун. Я никогда не отрицала, что насилие неизбежно, и не отрицаю этого сейчас.

Однако одно дело — применять насилие в бою как средство защиты. И совсем другое — возводить терроризм в принцип, институционализировать его, отводить ему ключевое место в социальной борьбе. Такой терроризм порождает контрреволюцию и сам, в свою очередь, становится контрреволюционным.

Редко какая революция проходила с таким малым уровнем насилия, как Русская революция. И Красного террора не последовало бы, если бы народ и культурные силы оставались у руля Революции. Это подтверждалось духом братства и солидарности, царившим по всей России в первые месяцы после Октябрьской революции. Но незначительное меньшинство, нацеленное на создание абсолютистского государства, неизбежно оказывается вынужденным прибегать к угнетению и террору.

Есть и другое возражение против моей критики со стороны коммунистов: «Россия бастует, — говорят они, — и революционеру неэтично выступать против рабочих, когда они бастуют против своих хозяев». Это чистая демагогия, которую большевики используют, чтобы заставить замолчать критику.

Неправда, что русский народ бастует. Напротив, истина в том, что русский народ оказался отстранён от участия в управлении — а большевистское государство, подобно буржуазному промышленному хозяину, использует меч и ружьё, чтобы не допустить народ к власти. В случае с большевиками эта тирания замаскирована волнующим мир лозунгом: так им удалось ослепить массы. Именно потому, что я революционерка, я отказываюсь встать на сторону господствующего класса, который в России называется Коммунистической партией.

До конца моих дней моё место будет среди обездоленных и угнетённых. Мне безразлично, правит ли тирания в Кремле или в любом другом средоточии власти. Я ничего не могла сделать для страдающей России, находясь в этой стране. Возможно, я смогу сделать что-то теперь, указывая на уроки русского опыта.

Не только забота о русском народе побудила меня написать эту книгу — это моя забота о массах повсюду. Массы, как и отдельный человек, возможно, не так легко учатся на опыте других. Но те, кто приобрёл этот опыт, должны высказаться — хотя бы уже потому, что не

могут, по справедливости к себе и своему идеалу, поддерживать великое заблуждение, которое им открылось.

*Эмма Голдман.*

*Берлин, июль 1922 года.*

## ГЛАВА I. Депортация в Россию

Ночью 21 декабря 1919 года вместе с двумястами сорока восемью другими политическими заключёнными я была депортирована из Америки. Хотя о предстоящей высылке было широко известно, мало кто действительно верил, что Соединённые Штаты настолько полностью отрекутся от своей репутации убежища для политических беженцев — некоторые из них жили и работали в Америке более тридцати лет.

Что касается моего случая, решение избавиться от меня впервые стало известно в 1909 году, когда федеральные власти специально добились лишения избирательных прав человека, благодаря которому я получила гражданство. Тот факт, что Вашингтон ждал до 1917 года, объяснялся отсутствием подходящего психологического момента для завершения этой кампании. Возможно, мне следовало оспорить своё дело тогда: при господствовавшем в то время общественном мнении суды, вероятно, не поддержали бы мошеннические действия, лишившие меня гражданства. Но тогда казалось невероятным, что Америка опустится до царских методов депортации.

Наша антивоенная агитация подлила масла в огонь военной истерии 1917 года и тем самым дала федеральным властям желанную возможность завершить заговор, начатый против меня в Рочестере (штат Нью-Йорк) в 1909 году.

5 декабря 1919 года, во время лекции в Чикаго, я получила телеграмму о том, что приказ о моей депортации окончательно утверждён. Вопрос о моём гражданстве был поднят в суде, но, разумеется, решён не в мою пользу. Я намеревалась передать дело в вышестоящую инстанцию, но в конце концов решила не идти дальше: Советская Россия манила меня.

Власти проявляли до смешного чрезмерную скрытность относительно нашей депортации. До самого последнего момента нас держали в неведении относительно времени отправки. Затем, неожиданно, в глухие предрассветные часы 21 декабря нас тайно вывезли. Обстоятельства этой операции были крайне драматичными. В шесть часов утра воскресенья, 21 декабря 1919 года, под усиленным военным конвоем мы ступили на борт «Буфорда».

Двадцать восемь дней мы оставались в положении заключённых. Часовые стояли у дверей наших кают днём и ночью, а также на палубе в течение того часа, когда нам ежедневно разрешали подышать свежим воздухом. Наши товарищи-мужчины были заперты в тёмных, сырых помещениях и получали отвратительную пищу; все мы пребывали в полном неведении относительно того, в каком направлении движемся. И всё же наш боевой дух был высок — перед нами открывалась перспектива России, свободной, новой России.

Всю свою жизнь героическая борьба России за свободу служила для меня маяком. Революционное рвение её мучеников и мучениц, которое не могли подавить ни крепости, ни каторга, вдохновляло меня в самые тёмные часы.

Когда весть о Февральской революции облетела мир, я страстно захотела поспешить в страну, которая совершила чудо и освободила свой народ от векового ига царизма. Но Америка удерживала меня. Мысль о тридцати годах борьбы за мои идеалы, о друзьях и соратниках делала невозможным оторваться от всего этого. «Я поеду в Россию позже», — думала я.

Затем последовало вступление Америки в войну, и возникла необходимость остаться верной американскому народу, который был втянут в ураган войны против своей воли. В конце концов я была в большом долгу перед Америкой: своим ростом и развитием я обязана тому лучшему, что в ней было, — её борцам за свободу, сыновьям и дочерям грядущей революции. Я буду верна им. Но разъярённые милитаристы вскоре положили конец моей работе.

Наконец я направлялась в Россию — и всё остальное почти стёрлось из памяти. Я увижу собственными глазами матушку-Россию — землю, освобождённую от политических и экономических хозяев; русского «дубинушку» (так называли крестьянина), поднятого из праха;

русского рабочего — современного Самсона, который взмахом своей могучей руки обрушил столпы разлагающегося общества.

«Двадцать восемь дней на нашей плавучей „тюрьме“ прошли в каком-то трансе. Я почти не осознавала окружающего».

Наконец мы достигли Финляндии, через которую нас заставили ехать в опломбированных вагонах. На русской границе нас встретила комиссия Советского правительства во главе с Зориным. Они пришли приветствовать первых политических беженцев, изгнанных из Америки за свои убеждения.

Был холодный день, земля была покрыта белым саваном, но весна жила в наших сердцах. Скоро мы должны были увидеть революционную Россию.

Я предпочла остаться одна, когда ступила на священную землю: моё ликование было слишком велико, и я боялась не совладать со своими эмоциями. Когда я добралась до Белоострова, первые восторженные приветствия, оказанные беженцам, уже закончились, но атмосфера всё ещё была насыщена накалом чувств. Я ощущала благоговение и смирение нашей группы: тех, кого в Соединённых Штатах третировали как преступников, здесь встречали как дорогих братьев и товарищей, приветствуя красными солдатами — освободителями России.

Из Белоострова нас отвезли в деревню, где был приготовлен очередной приём. Тёмный зал был заполнен до духоты; платформа освещалась сальными свечами, на ней висел огромный красный флаг, а на сцене стояла группа женщин в чёрных монашеских одеждах. Я стояла как во сне в этой напряжённой, почти немой тишине.

Внезапно раздался голос. Он бил по ушам, словно металл, и звучал невыразительно, но говорил о великих страданиях русского народа и о врагах Революции. Другие ораторы тоже обращались к аудитории, но моё внимание было приковано к женщинам в чёрном — их лица казались призрачными в жёлтом свете. Неужели это действительно монахини? Неужели Революция проникла даже за стены суеверий? Неужели Красный Рассвет ворвался в узкую жизнь этих аскетов? Всё это казалось странным и завораживающим.

Каким-то образом я оказалась на платформе. Я смогла лишь вымолвить, что, как и мои товарищи, приехала в Россию не учить — я приехала учиться, черпать из неё силы и надежду, положить свою жизнь на алтарь Революции.

После собрания нас проводили к ожидавшему петроградскому поезду. Женщины в чёрных клобуках затянули «Интернационал», и вся аудитория подхватила песню. Я ехала в вагоне с нашим сопровождающим Зориным, который жил в Америке и бегло говорил по-английски. Он с воодушевлением рассказывал о Советском правительстве и его удивительных достижениях. Его беседа была познавательной, но одна фраза показалась мне диссонансной. Говоря о политической организации своей партии, он заметил: «Таммани-холл перед нами — ничто, а что касается босса Мёрфи, мы могли бы кое-чему его научить». Я подумала, что человек шутит. Какая связь может быть между Таммани-холлом, боссом Мёрфи и Советским правительством?

Я осведомилась о наших товарищах, которые поспешили из Америки при первой вести о Революции. Многие из них погибли на фронте, сообщил мне Зорин, другие работали с Советским правительством.

А Шатов? Уильям Шатов — блестящий оратор и способный организатор — был известной фигурой в Америке, часто сотрудничал с нами в нашей работе. Мы послали ему телеграмму из Финляндии и были очень удивлены, что он не ответил. Почему Шатов не приехал нас встретить?

«Шатов должен был уехать в Сибирь, где он займёт пост министра путей сообщения», — сказал Зорин.

В Петрограде нашу группу снова встретили овациями. Затем депортированных отвели в знаменитый Таврический дворец, где их должны были накормить и устроить на ночлег. Зорин предложил Александру Беркману и мне воспользоваться его гостеприимством.

Мы сели в поджидавший автомобиль. Город был тёмным и безлюдным — нигде не было видно ни единой живой души. Мы не проехали и далеко, как машину внезапно остановили, и в глаза нам ударил электрический свет. Это была милиция, требовавшая пароль. Петроград недавно отбил атаку Юденича и всё ещё находился на военном положении. Эта процедура неоднократно повторялась по всему маршруту.

Незадолго до того, как мы достигли пункта назначения, мы проехали мимо хорошо освещённого здания.

— Это наш участок, — объяснил Зорин, — но сейчас у нас там мало заключённых. Смертная казнь отменена, и мы недавно объявили всеобщую политическую амнистию.

Вскоре автомобиль остановился.

— Первый дом Советов, — сказал Зорин. — Место жительства самых активных членов нашей партии.

Зорин и его жена занимали две комнаты, просто, но удобно обставленные. Подали чай и угощения, и хозяйка развлекала нас увлекательным рассказом о чудесной обороне, которую организовали петроградские рабочие против сил Юденича. Как героически мужчины, женщины и даже дети бросились на защиту Красного города! Какую замечательную самодисциплину и сплочённость проявил пролетариат!

Вечер прошёл за этими воспоминаниями, и я уже собиралась уйти в отведённую мне комнату, когда прибыла молодая женщина, представившаяся невесткой «Билла» Шатова. Она тепло приветствовала нас и предложила подняться к её сестре, которая жила этажом выше.

Когда мы вошли в их квартиру, я оказалась в объятиях самого Билла — крупного и жизнерадостного. Как странно, что Зорин сказал мне, будто Шатов уехал в Сибирь! Что это значило?

Шатов объяснил, что ему приказали не встречать нас на границе, чтобы помешать ему сформировать у нас первое впечатление о Советской России. Он впал в немилость у правительства, и его отправляли в Сибирь — практически в ссылку. Его отъезд задержался, поэтому нам всё же удалось его застать.

Мы провели много времени с Шатовым до его отъезда из Петрограда. Целыми днями я слушала его рассказ о Революции — о её свете и тенях, о развивающейся тенденции большевиков к правому уклону. Однако Шатов настаивал, что всем революционным элементам необходимо работать с правительством большевиков. Конечно, коммунисты совершили много ошибок, но то, что они делали, было неизбежно: их вынудили к этому интервенция союзников и блокада.

Через несколько дней после нашего прибытия Зорин попросил Александра Беркмана и меня сопровождать его в Смольный. Смольный, некогда пансион для дочерей аристократии, был центром революционных событий. Почти каждый его камень сыграл свою роль. Теперь это было местопребывание Петроградского правительства. Я обнаружила, что здание усиленно охраняется и производит впечатление улья, наполненного чиновниками и государственными служащими.

Особенно интересен был Отдел Третьего Интернационала — вотчина Зиновьева. Я была весьма впечатлена масштабами всего происходящего.

Показав нам всё, Зорин пригласил нас в столовую Смольного. Обед состоял из хорошего супа, мяса с картофелем, хлеба и чая — довольно сытная еда для голодающей России, подумала я.

Наша группа депортированных была расквартирована в Смольном. Я беспокоилась о своих попутчицах — двух девушках, которые делили со мной каюту на «Буфорде». Я хотела забрать их с собой в Первый дом Советов. Зорин послал за ними.

Они прибыли чрезвычайно взволнованными и рассказали нам, что всю группу депортированных поместили под военный караул. Это известие ошеломило нас. Люди, изгнанные из Америки за свои политические убеждения, теперь, в революционной России, снова оказались заключёнными — спустя всего три дня после прибытия. Что случилось?

Мы обратились к Зорину. Он выглядел смущённым.

— Какая-то ошибка, — сказал он и немедленно начал наводить справки.

Выяснилось, что среди политических деятелей, депортированных правительством Соединённых Штатов, оказалось четыре обычных уголовных преступника — и поэтому над всей группой был установлен караул. Эта мера показалась мне несправедливой и неоправданной. Это был мой первый урок большевистских методов.

## ГЛАВА II. Петроград

Мои родители переехали в Санкт-Петербург, когда мне было тринадцать лет. Под влиянием дисциплины немецкой школы в Кёнигсберге и прусского отношения ко всему русскому я выросла в атмосфере ненависти к этой стране.

Я особенно боялась ужасных нигилистов, которые убили царя Александра II — такого доброго и милого, как меня учили. Санкт-Петербург был для меня чем-то зловещим. Но жизнерадостность города, его живость и блеск вскоре развеяли мои детские фантазии и сделали его похожим на сказочный сон.

Затем моё любопытство пробудила революционная тайна, которая, казалось, витала над каждым, но о которой никто не смел говорить. Когда четыре года спустя я уехала с сестрой в Америку, я уже не была той немецкой Гретхен, для которой Россия означала зло. Вся моя душа преобразилась, и было посеяно зерно того, что стало делом всей моей жизни. Особенно Санкт-Петербург остался в моей памяти яркой картиной, полной жизни и тайны.

Я застала Петроград 1920 года совсем иным. Он был почти в руинах, словно по нему пронёсся ураган. Дома выглядели как разбитые старые склепы на заброшенных и забытых кладбищах. Улицы были грязными и безлюдными — вся жизнь ушла из них.

Население Петрограда до войны составляло почти два миллиона человек; в 1920 году оно сократилось до пятисот тысяч. Люди ходили как живые трупы: нехватка пищи и топлива медленно высасывала силы из города, а мрачная смерть сжимала его сердце. Истощённые и обмороженные мужчины, женщины и дети были движимы одной общей нуждой — поиском куска хлеба или щепки дров. Это было душераздирающее зрелище днём и гнетущая тяжесть ночью.

Особенно ужасны были ночи первого месяца в Петрограде. Абсолютная тишина огромного города парализовала. Это поистине преследовало меня — ужасное, гнетущее молчание, нарушаемое лишь случайными выстрелами. Я лежала без сна, пытаясь проникнуть в тайну. Разве Зорин не говорил, что смертная казнь отменена? К чему эти выстрелы? Сомнения тревожили мой разум, но я пыталась отмахнуться от них. Я приехала учиться.

Большую часть своих первых знаний и впечатлений об Октябрьской революции и последовавших за ней событиях я получила от Зориных. Как уже упоминалось, они оба жили в Америке, говорили по-английски и стремились просветить меня в вопросах истории Революции. Они были преданы делу и работали очень усердно — особенно Зорин. Он занимал должность секретаря петроградского комитета своей партии, редактировал ежедневную газету «Красная газета» и участвовал в других общественных мероприятиях.

Именно от Зорина я впервые услышала о легендарной фигуре — Махно. Как мне сообщили, он был анархистом, приговорённым при царе к каторге. Освобождённый в ходе Февральской революции, Махно стал предводителем крестьянской армии на Украине, проявив себя чрезвычайно способным и отважным военачальником и проделав блестящую работу по защите Революции.

Некоторое время Махно действовал в согласии с большевиками, сражаясь против контрреволюционных сил. Затем отношения обострились, и теперь его армия, набранная из людей с криминальным прошлым, воевала против большевиков. Зорин рассказал, что входил в состав комиссии, посланной к Махно для достижения взаимопонимания. Но Махно не внял голосу разума. Он продолжал войну против Советов и считался опасным контрреволюционером.

У меня не было возможности проверить эту историю, и я не сомневалась в словах Зориных. Оба казались мне совершенно искренними и преданными своему делу — словно религиозные фанатики: готовые, с одной стороны, сжечь еретика, а с другой — пожертвовать собственной жизнью ради своих убеждений.

Я была очень впечатлена простотой их быта. Несмотря на ответственное положение, Зорин не пользовался привилегией получения специальных пайков — они жили очень скромно. Их ужин часто состоял лишь из селёдки, чёрного хлеба и чая. Я считала это особенно достойным восхищения, поскольку Лиза Зорина в то время была беременна.

Через две недели после моего приезда в Россию меня пригласили на памятное собрание в честь Александра Герцена, которое проходило в Зимнем дворце. Беломраморный зал, где собрались люди, словно усиливал трескучий мороз, но присутствующие не обращали внимания на пронизывающий холод.

Я тоже осознавала всю уникальность момента: Александр Герцен — один из самых ненавидимых революционеров своего времени — теперь был удостоен чести в Зимнем дворце! И прежде дух Герцена нередко находил путь в дом Романовых. Это случалось, когда «Колокол» — издание, выходившее за границей и блиставшее талантами Герцена и Тургенева, — таинственным образом оказывался на столе у царя. Теперь царей больше не было, но дух Герцена словно восстал вновь и стал свидетелем осуществления мечты одного из великих людей России.

Однажды вечером мне сообщили, что Зиновьев вернулся из Москвы и примет меня. Он прибыл около полуночи. Он выглядел очень уставшим, и его постоянно беспокоили срочные сообщения.

Наш разговор носил общий характер: мы говорили о тяжёлом положении в России, о нехватке продовольствия и топлива, которая в то время была особенно острой, и о положении рабочих в Америке. Ему не терпелось узнать: «Как скоро можно ожидать революции в Соединённых Штатах?» Он не оставил у меня определённого впечатления, но я сознавала, что в этом человеке чего-то не хватает, хотя тогда не могла определить, чего именно.

Другим коммунистом, с которым я много общалась в первые недели, был Джон Рид. Я знала его ещё в Америке. Он жил в «Астории», много работал и готовился к возвращению в Соединённые Штаты. Ему предстояло ехать через Латвию, и он, казалось, опасался исхода поездки. Он был в России ещё в Октябрьские дни — это был его второй визит. Как и Шатов, он тоже настаивал на том, что тёмные стороны большевистского режима неизбежны. Он горячо верил, что Советское правительство выйдет из узких партийных рамок и вскоре установит коммунистическое общество. Мы проводили много времени вместе, обсуждая различные аспекты ситуации.

До сих пор я не встречала никого из анархистов, и меня довольно удивляло, что они не навещают меня. Однажды друг, которого я знала ещё в Штатах, пришёл спросить, не желаю ли я встретиться с несколькими членами анархистской организации. Я охотно согласилась. От них я узнала версию Русской революции и большевистского режима, совершенно отличную от того, что слышала раньше. Она была настолько ошеломляющей, настолько ужасной, что я не могла в неё поверить. Они пригласили меня на небольшое собрание, созванное специально для того, чтобы изложить мне свои взгляды.

В следующее воскресенье я пошла на их конференцию. Проходя по Невскому проспекту, недалеко от Литейной улицы, я наткнулась на группу женщин, сбившихся в кучу, чтобы защититься от холода. Их окружали солдаты, которые разговаривали и жестикулировали. Эти женщины, как я узнала, были проститутками, продававшими себя за фунт хлеба, кусок мыла или шоколадку. Солдаты были единственными, кто мог позволить себе купить их услуги — благодаря своим дополнительным пайкам.

Проституция в революционной России... Я поразилась. Что делает Коммунистическое правительство для этих несчастных? Что делают Советы рабочих и крестьянских депутатов?

Мой провожатый печально улыбнулся. Советское правительство закрыло дома терпимости и теперь пыталось согнать женщин с улиц, но голод и холод гнали их обратно; к тому же солдатам нужно было угождать. Это было слишком чудовищно, слишком невероятно, чтобы

быть правдой, — но вот они были: эти дрожащие создания на продажу и их покупатели — «красные защитники Революции».

— Проклятые интервенты, блокада — вот кто виноват, — сказал мой провожатый.

— Ну да, конечно, контрреволюционеры и блокада виноваты, — успокаивала я себя.

Я попыталась выбросить из головы мысль об этой сбившейся в кучу группе, но она не отпускала меня. Я почувствовала, как что-то во мне оборвалось.

Наконец мы добрались до пристанища анархистов — в ветхом доме в грязном дворе. Меня провели в маленькую комнату, битком набитую мужчинами и женщинами. Это зрелище напомнило картины тридцатилетней давности, когда анархистов в Америке преследовали и гоняли с места на место, вынуждая собираться в тёмном зале на Орчард-стрит в Нью-Йорке или в тёмной задней комнате какого-нибудь кабака. Это было в капиталистической Америке. Но здесь — революционная Россия, которую анархисты помогли освободить. Почему они должны собираться тайно и в таком месте?

В тот вечер и на следующий день я слушала рассказ о предательстве Революции большевиками. Рабочие с балтийских заводов говорили о своём порабощении, кронштадтские матросы изливали горечь и негодование против людей, которых они помогли привести к власти и которые стали их хозяевами.

Один из выступавших был приговорён большевиками к смерти за свои анархистские идеи, но бежал и теперь жил нелегально. Он рассказал, как матросов лишили свободы их Советов, как каждый вздох подвергался цензуре. Другие говорили о Красном терроре и репрессиях в Москве, результатом которых стал взрыв бомбы на собрании Московского комитета Коммунистической партии в сентябре 1919 года. Они рассказывали мне о переполненных тюрьмах, о насилии, применяемом к рабочим и крестьянам.

Я слушала довольно нетерпеливо, потому что всё во мне восставало против этих обвинений. Это казалось невозможным; так не могло быть. Кто-то, несомненно, был неправ, но, вероятно, это были они, мои товарищи, думала я. Они неблагоприятны, нетерпеливы, требуют немедленных результатов. Разве насилие не неизбежно в революции, и разве оно не было навязано большевикам интервентами?

Мои товарищи были возмущены.

— Замаскируйтесь, чтобы большевики вас не узнали, — сказали они. — Возьмите брошюру Кропоткина и попробуйте распространить её на советском собрании. Вы скоро увидите, сказали ли мы вам правду. И главное, уезжайте из Первого дома Советов. Живите среди народа — и у вас будут все доказательства, которые вам нужны.

Каким ребяческим и ничтожным казалось всё это на фоне мирового события, которое совершалось в России! Нет, я не могла поверить их рассказам. Я решила ждать и изучать положение дел. Но мой разум был в смятении, и ночи стали ещё более тягостными, чем когда-либо.

Наступил день, когда мне представилась возможность присутствовать на заседании Петросовета. Это должно было стать двойным торжеством: в честь возвращения Карла Радека в Россию и по случаю доклада Иоффе о мирном договоре с Эстонией. Как обычно, я пошла с Зориными.

Собрание проходило в Таврическом дворце — бывшем месте заседаний российской Думы. Каждый вход в зал охранялся солдатами, а платформа была окружена ими; бойцы держали ружья «на караул». Зал был набит битком — до самых дверей. Я стояла на платформе, глядя на море лиц внизу. Голодными и жалкими выглядели эти сыновья и дочери народа — герои Красного Петрограда. Как они страдали и выносили лишения ради Революции! Я чувствовала себя очень смиренной перед ними.

Председательствовал Зиновьев. После того как зал стоя пропел «Интернационал», Зиновьев открыл собрание. Он говорил долго. Голос у него был высокий, лишённый глубины. Как

только я услышала его, я поняла, чего мне не хватило в нём при нашей первой встрече — глубины, силы характера.

Следующим выступил Радек. Он был умён, остроумен, саркастичен и не пожалел едких слов для контрреволюционеров и белогвардейцев. В целом — интересный человек и интересная речь.

Иоффе выглядел настоящим дипломатом. Сытый и ухоженный, он казался довольно неуместным в этом собрании. Он говорил о мирных условиях с Эстонией, которые аудитория встретила с энтузиазмом. Конечно, эти люди хотели мира. Придёт ли он когда-нибудь в Россию?

Последним говорил Зорин — безусловно, самый способный и убедительный оратор в тот вечер. Затем собрание открыли для прений. Меньшевик попросил слова. Тотчас поднялся невообразимый шум. Крики «Изменник!», «Колчак!», «Контрреволюционер!» неслись со всех концов зала и даже с платформы. Мне это показалось недостойным поведением для революционного собрания.

По дороге домой я заговорила об этом с Зориным. Он рассмеялся.

— Свобода слова — это буржуазный предрассудок, — сказал он. — В революционный период не может быть свободы слова.

Я довольно скептически отнеслась к этому категорическому утверждению, но почувствовала, что не имею права судить. Я была новичком, а люди в Таврическом дворце так много пожертвовали и так много выстрадали ради Революции. Я не имела права судить.

## ГЛАВА III. Тревожные мысли

Жизнь шла своим чередом. Каждый день приносил новые противоречивые мысли и эмоции. Более всего меня поражало неравенство, которое я наблюдала в своём ближайшем окружении.

Я узнала, что пайки, выдаваемые жильцам Первого дома Советов («Астории»), были намного лучше тех, что получали рабочие на фабриках. Разумеется, их было недостаточно для поддержания жизни — но никто в «Астории» не жил только на эти пайки. Члены Коммунистической партии, расквартированные в «Астории», работали в Смольном, а пайки в Смольном были лучшими в Петрограде.

Более того, торговля в то время не была полностью подавлена. Рынки вели прибыльное дело, хотя никто не мог или не хотел объяснить мне, откуда берётся покупательная способность. Рабочие не могли позволить себе купить масло, которое стоило тогда 2 000 рублей за фунт, сахар — 3 000, или мясо — 1 000.

Неравенство было наиболее очевидным в кухне «Астории». Я часто заходила туда, хотя приготовление еды было настоящей пыткой: дикая борьба за каждый дюйм места на плите, жадные взгляды женщин, следящих, нет ли у кого-нибудь чего-то лишнего в кастрюле, ссоры и крики, когда кто-то вылавливал кусок мяса из горшка соседки!

Но в этой картине была одна искупающая деталь — возмущение прислуги, работавшей в «Астории». Они были прислугой, хотя их и называли товарищами, и они остро чувствовали неравенство. Революция для них была не просто теорией, которая осуществится через много лет. Она была живым делом. Однажды я воочию убедилась в этом.

Пайки раздавались в комиссариате, но за ними нужно было ходить самому. Однажды, когда я ждала своей очереди в длинной толпе, вошла крестьянская девушка и попросила укуса.

— Укус! Кто это требует такую роскошь? — воскликнули несколько женщин.

Оказалось, что девушка была прислугой Зиновьева. Она говорила о нём как о своём хозяине, который очень много работает и, безусловно, заслуживает чего-то добавочного. Тотчас разразилась буря негодования.

— Хозяин! Ради этого мы делали революцию — или чтобы избавиться от хозяев? Зиновьев не больше, чем мы, и он не имеет права на большее!

Эти работницы были грубы, даже жестоки, но их чувство справедливости было инстинктивным. Революция для них была чем-то глубоко жизненным. Они видели неравенство на каждом шагу и горько возмущались этим.

Я была встревожена. Я пыталась уверить себя, что Зиновьев и другие вожди коммунистов не станут использовать свою власть в корыстных целях. Именно нехватка продовольствия и отсутствие эффективной организации делали невозможным кормить всех одинаково. И, конечно, виновата в этом была блокада, а не большевики. Причиной были союзные интервенты, которые пытались перерезать России горло.

Каждый встреченный мной коммунист повторял эту мысль; даже некоторые анархисты настаивали на ней. Маленькая группа, враждебная Советскому правительству, не выглядела убедительной. Но как примирить данное мне объяснение с некоторыми историями, которые я слышала каждый день, — историями о систематическом терроре, о безжалостных преследованиях и подавлении других революционных элементов?

Другое обстоятельство, которое озадачивало меня, заключалось в том, что рынки были завалены мясом, рыбой, мылом, картофелем, даже обувью — каждый раз, когда выдавались пайки. Как эти вещи попадали на рынки? Все говорили об этом, но никто, казалось, не знал ответа.

Однажды я была в часовой мастерской, когда вошёл солдат. Он разговаривал с хозяином на идише и рассказал, что только что вернулся из Сибири с партией чая.

— Не возьмёт ли часовщик пятьдесят фунтов? — спросил он.

Чай в то время продавался по высокой цене — никто, кроме горстки привилегированных, не мог позволить себе такую роскошь. Конечно, часовщик согласился взять чай.

Когда солдат ушёл, я спросила владельца магазина, не считает ли он рискованным вести такое незаконное дело так открыто.

— Я случайно понимаю идиш, — сказала я ему. — Не боится ли он, что я донесу на него?

— Пустяки, — беззаботно ответил мужчина. — ЧК всё знает об этом — она получает свой процент и с солдата, и с меня.

Я начала подозревать, что причина многих зол кроется также внутри России, а не только вне её. Но, рассуждала я, полицейские чиновники и детективы берут взятки везде — это общая болезнь их породы.

В России, где нехватка продовольствия и три года голода по необходимости превращают большинство людей во взяточников, воровство неизбежно. Большевики пытаются подавить его железной рукой. Как можно винить их? Но, как я ни старалась, я не могла заглушить свои сомнения. Я искала моральной поддержки, надёжного слова, кого-то, кто пролил бы свет на тревожащие меня вопросы.

Мне пришло в голову написать Максиму Горькому — возможно, он поможет. Я обратила его внимание на его собственное смятение и разочарование во время визита в Америку. Он приехал, веря в её демократию и либерализм, а нашёл вместо этого фанатизм и отсутствие гостеприимства. Я была уверена, что Горький поймёт борьбу, происходящую во мне, хотя причина была иной. Примет ли он меня?

Два дня спустя я получила короткую записку с просьбой прийти.

Я восхищалась Горьким много лет. Он был живым подтверждением моей веры в то, что творческого художника невозможно подавить. Горький — дитя народа, пария — своим гением стал одним из величайших в мире; тот, кто своим пером и глубоким человеческим сочувствием сделал социальных изгоев нашими родными.

Годами я ездила по Америке, раскрывая американскому народу гений Горького, разъясняя величие, красоту и человечность этого человека и его произведений. Теперь мне предстояло увидеть его и через него получить представление о сложной душе России.

Я обнаружила, что главный вход в его дом заколочен досками, и, казалось, не было никакой возможности попасть внутрь. Я почти отчаялась, когда какая-то женщина указала на грязную лестницу. Я поднялась на самый верх и постучала в первую попавшуюся дверь.

Мне открыли, на мгновение ослепив потоком света и пара из перегретой кухни. Затем меня провели в большую столовую. Она была тускло освещена, холодна и уныла, несмотря на огонь в камине и большую коллекцию голландского фарфора на стенах.

Одна из трёх женщин, которых я заметила на кухне, села со мной за стол, делая вид, что читает книгу, но всё время исподтишка наблюдая за мной. Прошло неловких полчаса ожидания.

Вскоре прибыл Горький. Высокий, худой, кашляющий, он выглядел больным и усталым. Он провёл меня в свой кабинет — полутёмный и производящий удручающее впечатление.

Едва мы сели, как дверь распахнулась, и другая молодая женщина, которую я раньше не замечала, принесла ему стакан тёмной жидкости — по-видимому, лекарства. Затем зазвонил телефон; через несколько минут Горького вызвали из комнаты. Я поняла, что не смогу поговорить с ним. Вернувшись, он, должно быть, заметил моё разочарование. Мы договорились отложить нашу беседу до какого-нибудь менее беспокойного случая.

Провожая меня до двери, он заметил:

— Вам стоит побывать на Балтфлоте. Кронштадтские матросы почти все — инстинктивные анархисты. Вы бы нашли там поле для деятельности.

Я улыбнулась.

— Инстинктивные анархисты? — сказала я. — Это значит, что они не испорчены предвзятыми понятиями, неискушёнными и восприимчивы. Вы это имеете в виду?

— Да, я это имею в виду, — ответил он.

Разговор с Горьким оставил меня в подавленном состоянии. Не более удовлетворительной была и наша вторая встреча — во время моей первой поездки в Москву.

Тем же поездом ехали Радек, Демьян Бедный — популярный большевистский стихотворец — и Циперович, тогдашний председатель петроградских профсоюзов. Мы оказались в одном вагоне — предназначенном для большевистских чиновников и государственных сановников, удобном и просторном.

С другой стороны, «простому» человеку — некоммунисту, не имеющему влияния — приходилось буквально с боем пробиваться в вечно переполненные железнодорожные вагоны, если ему удавалось получить пропуск на поездку, — а это было труднее всего.

Время в пути я провела, обсуждая положение дел в России с Циперовичем — добрым человеком с глубокими убеждениями — и с Демьяном Бедным — крупным, грубоватым на вид мужчиной. Радек пространно рассказывал о своих переживаниях в Германии и немецких тюрьмах.

Я узнала, что в том же поезде едет и Горький, и обрадовалась ещё одной возможности поговорить с ним, когда он зашёл меня навестить. Больше всего в тот момент меня занимала статья, появившаяся в петроградской «Правде» за несколько дней до моего отъезда. В ней речь шла о морально дефективных детях, и автор призывал к тюремному заключению для них.

Ничто из того, что я слышала или видела за шесть недель в России, не возмутило меня так сильно, как это жестокое и старомодное отношение к ребёнку. Мне не терпелось узнать, что думает об этом Горький.

Разумеется, он был против тюрем для морально дефективных и выступил бы за исправительные заведения вместо них.

— Что вы понимаете под морально дефективными? — спросила я.

— Наша молодёжь — результат алкоголизма, бушевавшего во время Русско-японской войны, и сифилиса. Что, кроме моральной дефективности, может быть следствием такого наследия? — ответил он.

Я возразила, что мораль меняется в зависимости от условий и климата, и что, если не верить в теорию свободной воли, то нельзя считать мораль фиксированной величиной. Что касается детей, то их чувство ответственности примитивно, и им не хватает духа социальной приверженности. Но Горький настаивал на том, что среди детей наблюдается ужасающее распространение моральной дефективности и что такие случаи следует изолировать.

Затем я затронула проблему, которая тревожила меня больше всего: как насчёт преследований и террора — были ли все эти ужасы неизбежны или же в самом большевизме была какая-то ошибка?

— Большевики совершают ошибки, но они делают всё, что умеют, — сухо сказал Горький. — Ничего большего и ожидать нельзя, — полагал он.

Я вспомнила одну статью Горького, опубликованную в его газете «Новая жизнь», которую я прочла в Миссурийской тюрьме. Это было уничтожающее обвинение против большевиков. Должны были быть веские причины, чтобы так полностью изменить точку зрения Горького.

Возможно, он прав. Я должна подождать. Я должна изучить ситуацию, я должна добраться до фактов. И прежде всего — я должна увидеть большевизм в действии своими глазами.

Мы заговорили о драме. При первом визите, в качестве вступления, я показала Горькому объявление о курсе по драматургии, который я вела в Америке. Джон Голсуорси был среди драматургов, которых я тогда рассматривала.

Горький выразил удивление, что я считаю Голсуорси художником. По его мнению, Голсуорси нельзя было сравнить с Бернардом Шоу. Я была вынуждена не согласиться. Я не недооценивала Шоу, но считала Голсуорси более великим художником.

Я уловила раздражение Горького, и, поскольку его надрывной кашель продолжался, я прервала обсуждение. Вскоре он ушёл. Я осталась в подавленном состоянии после этой встречи. Она ничего мне не дала.

Когда мы подъехали к московскому вокзалу, мой сопровождающий Демьян Бедный исчез, и я осталась на платформе со всем своим скарбом. Радек пришёл мне на помощь: он позвал носильщика, взял меня и мой багаж в свой поджидавший автомобиль и настоял на том, чтобы я поехала к нему в квартиру в Кремле.

Там меня любезно приняла его жена и пригласила на обед, который подала их горничная. После этого Радек начал трудную задачу по моему размещению в гостинице «Националь», известной как Первый дом Московского Совета. Со всеми своими связями ему потребовались часы, чтобы получить для меня комнату.

Роскошная квартира Радека, горничная, великолепный обед — всё это казалось странным в России. Но товарищеская забота Радека и гостеприимство его жены были мне приятны. За исключением Зориных и Шатовых, я не встречала ничего подобного. Я почувствовала, что доброта, сочувствие и солидарность всё ещё живы в России.

## ГЛАВА IV. Москва: первые впечатления

Попасть из Петрограда в Москву — всё равно что внезапно перенестись из пустыни в кипучую жизнь: так велик контраст.

Когда я достигла большой открытой площади перед главным московским вокзалом, я была поражена видом оживлённых толп, извозчиков и носильщиков. Та же картина предстала передо мной на всём пути от вокзала до Кремля. Улицы кипели мужчинами, женщинами и детьми. Почти каждый нёс какой-нибудь узел или тащил нагруженные сани. Здесь были жизнь, движение, активность — совсем не то, что гнетущая тишина Петрограда.

Я заметила в городе значительное присутствие военных и множество людей в кожаных костюмах с револьверами на поясе.

— Чекисты, наша Чрезвычайная Комиссия, — объяснил Радек.

Я слышала о ЧК и раньше: в Петрограде о ней говорили со страхом и ненавистью. Однако солдаты и чекисты никогда не бросались в глаза в городе на Неве. Здесь же, в Москве, они были повсюду.

Их присутствие напомнило мне замечание Джека Рида:

— Москва — это военный лагерь, — сказал он. — Повсюду шпионы, бюрократия самая автократическая. Я всегда чувствую облегчение, когда выбираюсь из Москвы. Но, в конце концов, Петроград — пролетарский город, он пронизан духом Революции. Москва всегда была иерархичной. Сейчас она ещё более иерархична.

Я обнаружила, что Джек Рид был прав. Москва действительно была иерархична. Тем не менее жизнь здесь была интенсивной, разнообразной и интересной.

Что поразило меня больше всего, помимо демонстрации милитаризма, так это поглощённость людей своими делами. Казалось, между ними не было ничего общего. Каждый носился как отдельная единица в поисках своего, толкая и сбивая всех остальных.

Я неоднократно видела, как женщины или дети падали от истощения, и никто не останавливался, чтобы помочь. Люди смотрели на меня, когда я наклонялась над упавшим на скользкой мостовой человеком или подбирала узлы, выпавшие на улицу.

Я говорила с друзьями о том, что казалось мне странным отсутствием братского чувства. Они объясняли это отчасти всеобщим недоверием и подозрительностью, порождёнными ЧК, а отчасти — изматывающей необходимостью каждый день добывать себе еду. У человека не оставалось ни сил, ни чувств, чтобы думать о других. Однако не похоже было, чтобы здесь был такой же голод, как в Петрограде, и люди были теплее одеты и выглядели лучше.

Я проводила много времени на улицах и рынках. Большинство из них, включая знаменитую Сухаревку, работали в полную силу. Временами солдаты устраивали облавы на рынках, но, как правило, им позволяли продолжать работу.

Рынки представляли собой самую живую и интересную часть городской жизни. Здесь собирались пролетарии и аристократы, коммунисты и буржуа, крестьяне и интеллигенты. Здесь их объединяло общее желание продавать и покупать, торговать и торговаться.

Здесь можно было найти на продажу ржавый чугунный горшок рядом с изысканной иконой, старую пару обуви и искусно вышитое кружево, несколько ярдов дешёвого ситца и прекрасную старую персидскую шаль. Богачи вчерашнего дня — голодные и истощённые, расстававшиеся с последними остатками былого великолепия; богачи сегодняшнего дня — покупающие... Воистину это была удивительная картина в революционной России.

Кто покупал эти роскошные вещи прошлого и откуда бралась покупательная способность? Покупателей было много. В Москве я была не так ограничена в источниках информации, как в Петрограде: сами улицы служили этим источником.

Русские люди даже после четырёх лет войны и трёх лет революции оставались неисклю-  
щёнными. Они были подозрительны к незнакомцам и поначалу сдержанны. Но когда они узна-  
вали, что человек приехал из Америки и не принадлежит к правящей политической партии,  
они постепенно теряли свою настороженность.

Много информации я собрала от них, а также получила некоторые объяснения вещей,  
которые озадачивали меня с момента приезда. Я часто разговаривала с рабочими и крестья-  
нами, а также с женщинами на рынках.

Силы, которые привели к Русской революции, оставались *terra incognita* для этих про-  
стых людей, но сама Революция глубоко запала в их души. Они ничего не знали о теориях, но  
верили, что больше не будет ненавистного барина (хозяина) — а теперь барин снова над ними.

— У барина есть всё, — говорили они, — белый хлеб, одежда, даже шоколад, а у нас  
ничего.

— Коммунизм, равенство, свобода, — насмехались они, — ложь и обман!

Я возвращалась в «Националь» измученной и разбитой, мои иллюзии постепенно руши-  
лись, основы моего мировоззрения давали трещину. Но я не сдавалась.

В конце концов, думала я, простые люди не могут понять тех огромных трудностей,  
с которыми сталкивается Советское правительство: империалистических сил, ополчившихся  
против России; многочисленных нападений, из-за которых страна теряет людей, которые иначе  
были бы заняты производительным трудом; блокады, неумолимо убивающей молодых и сла-  
бых.

Конечно, люди не могут понимать этих вещей, и я не должна позволять горечи, рождён-  
ной страданиями, вводить себя в заблуждение. Я должна быть терпеливой. Я должна добраться  
до истоков тех проблем, с которыми сталкиваюсь.

«Националь», как и петроградская «Астория», был бывшей гостиницей, но в гораздо худ-  
шем состоянии. Там не выдавали пайков, за исключением трёх четвертей фунта хлеба раз в  
два дня. Вместо этого была общая столовая, где подавали обеды и ужины.

Еда состояла из супа и небольшого количества мяса, иногда — рыбы или блинов, плюс  
чай. По вечерам у нас обычно были каша и чай. Еды было не слишком много, но на ней можно  
было существовать, если бы она не была так отвратительно приготовлена.

Я не видела причин для такой порчи продуктов. Зайдя на кухню, я обнаружила множе-  
ство прислуги, которой руководили чиновники, коменданты и инспекторы. Кухонный персо-  
нал получал низкую зарплату; более того, им не давали той же еды, что подавали постояльцам.  
Они возмущались этой дискриминацией, и их интерес к работе был крайне низок.

Эта ситуация приводила к масштабному казнокрадству и расточительству — преступ-  
ному в условиях всеобщего дефицита продовольствия. Как я узнала, немногие из постояльцев  
«Националя» питались в общей столовой. Они готовили сами или заказывали приготовление  
еды прислуге на отдельной кухне, отведённой для этой цели.

Там, как и в «Астории», я обнаружила ту же самую борьбу за место на плите, те же пре-  
рекания и ссоры, то же жадное, завистливое наблюдение друг за другом. «Так ли работает ком-  
мунизм на деле?» — размышляла я. Я слышала обычное объяснение: Юденич, Деникин, Кол-  
чак, блокада... Но стереотипные фразы уже не удовлетворяли меня.

Перед отъездом из Петрограда Джек Рид сказал мне:

— Когда доберётесь до Москвы, разыщите Анжелику Балабанову. Она примет вас  
радушно и приютит, если вы не сможете найти комнату.

Я слышала о Балабановой и раньше, знала о её работе и, естественно, стремилась с ней  
познакомиться.

Через несколько дней после прибытия в Москву я позвонила ей: примет ли она меня?

— Да, немедленно, — ответила она, хотя и чувствовала себя плохо.

Я нашла Балабанову в маленькой, неудобной комнате — она съёжилась на диване. Она была непривлекательна внешне, за исключением глаз: больших, лучистых, излучающих сочувствие и доброту. Она приняла меня очень приветливо, словно старую подругу, и немедленно распорядилась принести неизбежный самовар.

За чаем мы говорили об Америке, о тамошнем рабочем движении, о нашей депортации и, наконец, о России. Я задала ей вопросы, которые уже не раз задавала другим коммунистам, — о контрастах и противоречиях, встававших передо мной на каждом шагу.

Она удивила меня тем, что не стала приводить обычных оправданий — она была первой, кто не повторил затёртый рефрен. Балабанова упомянула о нехватке продовольствия, топлива и одежды, которая порождала множество случаев казнокрадства и коррупции. Но в целом она считала, что сама жизнь мелочна и ограничена.

— Скала, о которую разбиваются самые высокие надежды, — сказала она. — Жизнь разрушает лучшие намерения и сокрушает самые прекрасные души.

Довольно необычный взгляд для марксистки и коммунистки, да ещё находящейся в самой гуще битвы. Я знала, что тогда она была секретарём Третьего Интернационала. Вот это была личность — не просто эхо чужих идей, а человек, глубоко чувствовавший сложность российской ситуации. Я ушла глубоко впечатлённая, мысленно возвращаясь к её печальным, лучистым глазам.

Вскоре я обнаружила, что Балабанова — или Балабанофф, как она предпочитала, чтобы её называли, — всегда была к услугам каждого. Несмотря на слабое здоровье и множество обязанностей, она находила время заботиться о нуждах бесчисленных посетителей.

Часто она сама оставалась без самого необходимого, раздавая свои пайки, и вечно хлопотала, пытаясь достать лекарства или какое-нибудь лакомство для больных и страждущих. Особой её заботой были оказавшиеся в беде итальянцы — их в Петрограде и Москве было довольно много.

Балабанова много лет жила и работала в Италии, пока почти сама не стала итальянкой. Она глубоко сочувствовала им — людям, которые были так же далеки от родной земли, как и от событий в России. Она была их другом, советчиком, главной опорой в мире распри и борьбы.

Не только итальянцы, но почти каждый мог рассчитывать на помощь этой замечательной женщины: никому не нужен был членский билет коммуниста, чтобы найти отклик в сердце Анжелики. Неудивительно, что некоторые её товарищи считали её «сентименталисткой, тратящей драгоценное время на благотворительность».

Я выдержала немало словесных баталий на этот счёт с теми коммунистами, которые стали чёрствыми и жёсткими, полностью лишёнными качеств, присущих русским идеалистам прошлого.

Похожую критику, что и в адрес Балабановой, я слышала и о другом видном коммунисте — Луначарском. Уже в Петрограде мне насмешливо говорили:

— Луначарский — пустозвон, который разбазаривает миллионы на дурацкие затеи.

Но мне не терпелось встретиться с человеком, который был комиссаром одного из важнейших ведомств России — народного просвещения. Вскоре такая возможность представилась.

Кремль, старая цитадель царизма, оказался под усиленной охраной и был практически недоступен для «простого» человека. Но я пришла по записи и в сопровождении человека с пропуском, поэтому прошла охрану без проблем.

Вскоре мы добрались до апартаментов Луначарского, расположенных в старом причудливом здании внутри кремлёвских стен. Хотя приёмная была забита людьми, ожидавшими приёма, Луначарский пригласил меня сразу, как только обо мне доложили.

Он поприветствовал меня очень радушно.

— Намерены ли вы «оставаться свободной птицей»? — был один из первых его вопросов. — Или, может быть, вы согласитесь присоединиться к моей работе?

Я была довольно удивлена. Почему кто-то должен отказываться от своей свободы, особенно в просветительской работе? Разве инициатива и свобода не являются существенными?

Тем не менее я пришла узнать от Луначарского о революционной системе образования в России, о которой мы так много слышали в Америке. Меня особенно интересовала забота о детях.

Московская «Правда», как и петроградские газеты, была взбудоражена полемикой по поводу обращения с морально дефективными детьми. Я выразила удивление по поводу такого отношения в Советской России.

— Конечно, это всё варварство и пережитки старины, — сказал Луначарский. — И я борюсь с этим изо всех сил. Сторонники тюрем для детей — старые юристы-криминалисты, всё ещё пропитанные царскими методами. Я организовал комиссию из врачей, педагогов и психологов для решения этого вопроса. Конечно, этих детей нельзя наказывать.

Я почувствовала огромное облегчение. Вот наконец человек, который отошёл от жестоких старых методов наказания.

Я рассказала ему о прекрасной работе, проделанной в капиталистической Америке судьёй Линдсеем, и о некоторых экспериментальных школах для отстающих детей. Луначарский очень заинтересовался.

— Да, это именно то, что нам здесь нужно, — воскликнул он. — Американская система образования!

— Вы ведь не имеете в виду американскую систему государственных школ? — спросила я. — Вам известно о движении в Америке против нашей системы государственного школьного образования, о работе профессора Дьюи и других?

Луначарский мало что об этом слышал. Россия так долго была отрезана от западного мира, и ощущалась огромная нехватка книг по современному образованию. Он стремился узнать о новых идеях и методах.

Я почувствовала в Луначарском личность, полную веры и преданности Революции, — человека, который вёл великое дело образования в физически и духовно тяжёлой обстановке.

Он предложил созвать конференцию учителей, чтобы я выступила перед ними с докладом о новых тенденциях в американском образовании, — на что я охотно согласилась. Школы и другие подведомственные ему учреждения предстояло посетить позже.

Я ушла от Луначарского, преисполненная новой надежды. «Я присоединюсь к нему в его работе», — думала я. Что может быть большей услугой для русского народа?

Во время моего пребывания в Москве я виделась с Луначарским несколько раз. Он оставался всё таким же любезным и приветливым человеком, но вскоре я начала замечать, что в своей работе он скован силами внутри собственной партии: большинство его благих намерений и решений так и не воплощалось в жизнь.

По-видимому, Луначарский попал в ту же машину, которая, очевидно, держала всё в своей железной хватке. Что это была за машина? Кто управлял её движениями?

Хотя контроль за посетителями в «Национале» был очень строгим — никто не мог войти или выйти без специального пропуска (разрешения), — мужчины и женщины разных политических фракций умудрялись навещать меня: анархисты, левые эсеры, кооператоры и люди, которых я знала в Америке и которые вернулись в Россию, чтобы сыграть свою роль в Революции.

Они приехали с глубокой верой и высокими надеждами, но я застала почти всех их обескураженными, а некоторых — даже озлобленными. Хотя их политические взгляды сильно различались, почти все мои посетители рассказывали одну и ту же историю — историю о высоком подъёме Революции, о чудесном духе, который вёл народ вперёд, о возможностях масс,

о роли большевиков как выразителей самых радикальных революционных лозунгов и об их предательстве Революции после того, как они захватили власть.

Все говорили о Брест-Литовском мире как о начале упадка. Особенно левые эсеры — люди высокой культуры и серьёзности, много страдавшие при царе и теперь видевшие, как их надежды и стремления разбиты, — были наиболее решительны в своём осуждении.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.